Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОРГАН
МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ


№ 3

1935

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

— Осторожнее здесь, осторожнее! Ставьте ногу мне на плечо, ваше превосходительство... Как вы могли решиться спрятаться здесь? Мог ли я это себе представить — там, наверху, рискуя сломать себе шею из-за такой противной бабы, как эта! Вы, кавалер? Вы говорите это серьезно, ваше превосходительство!

Он поворачивается к жене, поднося кулак к ее лицу.

— Как это? — кричал он.— Там, наверху, тебе надо было прятать его! Не было более приличного места! Ты не видела, дура, что я искал повсюду, только не в стенном шкафу под занавеской. Скорее бери щетку для сеньора кавалера! Будьте любезны, ваше превосходительство, спрячьтесь в шкаф на пять минут! Вы слышите, как кричат на улице? Существуют некоторые обязательства, ваше превосходительство, верьте мне! Не хотелось бы, но ничего не поделаешь! Только пять минут, будьте любезны, я их выгоню!

И, заперев кавалера в стенной шкаф, он открывает окно, выходящее в переулок; он кричит сбежавшейся толпе:

— Никого нет! Я открываю двери. Кто хочет войти — входите, чтобы убедиться. Но здесь никого нет!

Джемс Джойс

Улисс

Перевод с английского И. РОМАНОВИЧА[1]

Непреодолимая модальность видимого: по меньшей мере это, если не больше мыслимое глазами. Отпечатки всех вещей, которые я здесь призван прочесть, морские ракушки и морские водоросли, приближающийся прилив, этот ржавый сапог. Сопливо-зеленый, серебряно-голубой, ржавый: цветные отпечатки. Пределы прозрачного. Но, добавляет он: в телах. Следовательно, он сознал их как тела раньше, чем как цветные. Каким образом? Надо думать, стукнувшись о них башкой. Полегче, полегче. Лысый он был и миллионер, maestro di color che sanno[2]. Предел прозрачного «в». Почему «в»? Прозрачное, непрозрачное. Если тебе удастся проткнуть это своими пятью пальцами, значит решетка, если нет,— значит дверь. Закроем глаза и посмотрим.

Стефен закрыл глаза, чтобы слышать, как хрустят хрупкие раковины и водоросли под его ботинками. Как бы то ни было, ты проходишь сквозь это. Да, каждый раз по одному шагу. Очень небольшой отрезок пространства за очень небольшой отрезок времени. Пять, шесть: nacheinander[3]. Вот именно: это-то и есть непреодолимая модальность слышимого. Открой глаза. Нет. Господи! А если бы я свалился с обрыва, чье основанье омывает, непреодолимо провалился сквозь nebeneinander[1]. Я отлично продвигаюсь в темноте. Мой деревянный меч висит у меня на боку. Нащупывай им дорогу — так делают они. Моими ступнями в его ботинках оканчиваются его ноги, nebeneinander. Кажется, прочно: прибили молотом los Demiurgos[2]. В вечность ли шагаю я вдоль Сэндимонтского берега? Треск, хряск, хруст, хруст. Рассыпанные морем деньги. Отец Дизи знает их все.

Давай поедем в Сэндимонт.
Кобылица Маделин!

Видишь, возникает ритм. Я слышу. Каталектический ямбический тетраметр, шагом. Нет, в галоп: «былица Маделин».

Теперь открой глаза. Хорошо. Одну минутку. А что, если все исчезло за это время? А вдруг я открою их и навсегда окажусь в черной непрозрачности? Баста! Увижу, если я вижу.

Смотри теперь. Было здесь все время без тебя; и будет всегда, вовеки-веков.

Они осторожно спускались по ступеням с террасы Лихи, Frauenzimmer[3]: вниз по отлогому берегу, вяло погружая свои плоские ступни в илистый песок. Как я, как Олджи, спускаются вниз к нашей могучей матери. Номер первый, тяжело помахивая своей акушерской сумкой, другая зонтиком тыкая в песок. После отдыха на работу. М-с Флоренс Мак Кэйб, вдова покойного Патка Мак Кэйба, горько оплакиваемого, Брайдстрит. Одна из товарок ее втащила меня плачущего в жизнь. Что у нее в сумке? Выкидыш со свисающей пуповиной, завернутый в окровавленную вату? Каждого пуповина, звеньями цепляясь, уходит назад, волокносвитый канат всего, что есть плоть. Вот почему монастырские мистики. Хотите быть яко боги? Созерцайте свой омфалос. Алло. Говорит Кинч. Дайте Эдем. Алеф, альфа: ноль, ноль, один.

[1] Под редакцией Первого переводческого кол-ва ССП.
[2] Мастер цветов которого знают (итал.).
[3] Один за другим (нем.).

[1] Один подле другого (нем.).
[2] Демиурги (исп.).
[3] Женщины (нем.).

Супруга и спутница Адама Кадмона: Хева, обнаженная Ева. У нее не было пупка. Созерцайте. Чрево, незапятнанное и благостное, большое, блистающее белизной, туго обтянутый веллумом щит, нет, белокопенная пшеница, восточная и бессмертная, пребывающая присно и присно. Лоно греха.

В лоне греха, темном, был и я, сотворен, не рожден. Ими, мужчиной с моим голосом и моими глазами и призраком женщины с пеплом в дыхании. Они сжимали друг друга и раз'единялись, исполняя хотение сочетавшего. До начала времен восхотел он меня и теперь, может быть, не расхочет меня вовеки. Lex eterna[1] пребывает с ним. Может быть, это и есть та божественная сущность, в которой отец и сын единосущны? Где ты, добрый, старый Арий, чтобы сделать выводы? Всю жизнь свою сражался против единопреображидотрамтарарамности. Злосчастный ересиарх. В греческом отхожем месте испустил он последний вздох: euthanasia[2]. В жемчугами усыпанной митре и с посохом, восседая на своем троне, вдовец овдовевшей епархии, с торчащим омофором, с замаранным задом.

Воздух кружился вокруг него, жестокий и кусающийся воздух. Они идут, волны. Белогривые кони, пенноуздые, ветровзнузданные скакуны Мананаана.

Не забыть бы про его письмо в редакцию. А после? В «Корабль», в полпервого. Кстати, поаккуратней с деньгами, как подобает примерному юному кретину. Да, так нужно.

Он зашагал медленней. Здесь. Пойду я к тете Саре или не пойду? Голос моего единосущного отца. Вы давно не видели вашего брата Стефена, знаете, литератора? Он, конечно, не на Страсбург-террэс у своей тети Салли? Неужели он все еще плавает так мелко? И еще и еще и еще скажи нам, Стефен, как поживает дядя Си? О господи, с кем только я породнился! Мальчики наверху, на сеновале. Спившийся адвокатишка и его брат-кларнетист. В высшей степени респектабельные гондольеры. А косоглазый Уолтер величает своего отца сэром, не как-нибудь. Сэр. Да, сэр. Нет, сэр. Иисус плакал: и не удивительно, разрази меня Христос!

Я дергаю астматический звонок их забаррикадированного ставнями коттэджа и жду. Они думают — я кредитор, выглядывают со своего НП.

— Это Стефен, сэр.

— Впусти его. Впусти Стефена.

Засов отодвинут, и Уолтер встречает меня:

— Мы приняли вас за другого.

Обложенный подушками, укутанный одеялами на своей широкой постели, дядя Ричи протягивает крепкую руку через холмик своих колен. Чистогрудый. Он вымыл верхнюю половину.

Доброе утро, племянник.

Он откладывает в сторону доску, на которой он переписывает счета для мастера Гоффа и мастера Шэпленда Тэнди, подшивает расписки, исполнительные листы и судебные повестки. Рама из морского дуба над его лысой головой: Requiescat[1] Уайльда. На его сбивающий с толку свист приходит Уолтер.

— Да, сэр?

— Скажи матери, пива для Ричи и Стефена. Где она?

— Купает Крисси, сэр.

Спит с папочкой в одной постели. Любимая дочка.

— Нет, дядя Ричи...

— Называй меня просто Ричи. К чорту эту вашу розовую водичку. От нее только слабит. Виски!

— Дядя Ричи, в самом деле...

— Сядь на место, или, клянусь честью, Гарри, я двину вас как следует.

Уолтер тщетно косоглазит в поисках стула.

— Ему не на что сесть, сэр.

— Ему некуда поместить свою, дурак. Принеси наш чиппендэлский стул. Не хочешь ли подкрепиться? Перестань ломаться, ты здесь не в гостях. Поджаренного сала с селедкой? Нет? Тем лучше. У нас в доме нет ничего кроме пилюль от прострела.

All'erta![2]

Он тихонько насвистывает aria di sortita[3] Фернандо. Самое лучшее место, Стефен, во всей опере. Ты только послушай.

Снова звучит его мелодичный свист, с тонкими модуляциями, подчеркивая все переходы, отбивая такт на поднятых коленях.

Этот ветер нежней.

Дома упадка, мой, его и все. Ты говорил дворянчикам в Клонгаусе, что у тебя один дядя судья, а другой — генерал. Уйди от них, Стефен, не там красота. И не в стоячих водах библиотеки Марша, где ты читал увядающие пророчества аббата Иоахима. Кому они? Стоглавая толпа в ограде собора. Такой же ненавистник, как он, бежал от них в леса безумия, его грива вспененная лунным светом, его глазные яблоки—звезды. Гуигнгнм, коненоздрый. Овальные лошадиные лица, Темпл, Бак Маллиган, Фокси Кэмпбелл, впалые щеки. Отец-аббат, неистовый декан, какое оскорбление бросило пламя в их мозг? Пафф! Descende, calve, ut ne nimium decalveris[1]. Гирлянда седых волос на его обреченной голове; вижу я его, карабкается вниз к тропинке (descende), сжимая дароносицу, василископлазый. Вниз, лысая башка!

Хор посылает угрозу и эхо на клиросе алтаря, гнусавая латынь дородных попов, облеченных в стихари, тонзурованных и миропомазанных и выхолощенных, ожиревших от жира зародышей пшеницы.

И может быть в это мгновение священник где-нибудь за углом подымает ее. Динь-дон! А еще за две улицы отсюда другой запирает ее в дароносицу. Дилинь-дон! А в часовне богоматери другой засовывает облатку за щеку. Динь-дон! Вниз, вверх, вперед, назад. Вильгельм Оккам думал об этом, непобедимый доктор. Туманным английским утром дьявол пресуществления щекотал его мозг. Опуская гостию вниз и становясь на колени, он слышал, как сплетается со вторым звоном его колокольчика первый звон в боковом приделе (он поднимает свою), и, вставая с колен, слышал (теперь поднимаю я), как два их звона (он становится на колени) сливаются в двоегласии.

Кузен Стефен, вы никогда не будете святым. Остров святых. Ты был ужасно набожным, не правда ли? Ты молился пресвятой деве, чтобы твой нос не был красным. Ты молился дьяволу на Серпентин-авеню, чтобы толстая вдовушка впереди тебя еще выше подняла юбки, переходя через лужу... O si, certo[1]! Продай свою душу за это, продай, за цветные тряпки, зашпиленные булавками вокруг грязной сквау. Еще расскажи мне, еще! На империале Гоутского трамвая, один, кричал в дождь: голые женщины! Как насчет этого, а?

Насчет чего этого? А для чего их выдумали?

Читал по две страницы из семи книг каждый вечер, а? Я был мальчишка. Ты кланялся сам себе в зеркале, серьезно выходя на аплодисменты, очень интересное лицо. Да здравствует непревзойденный идиот! Ураа! Никто не видел; не рассказывай никому. Книги, которые ты собирался написать, с буквами вместо заглавий. Читали вы его F? Да, но я предпочитаю Q. Да, но лучше всего W. О да, W. Помнишь эпифании на зеленых овальных листах, глубокие-глубокие, в случае твоей смерти послать копии во все крупные библиотеки мира, включая александрийскую? Кто-нибудь прочтет их там через тысячу лет, по прошествии манвантары. Похоже на Пико делла Мирандола. Вот именно, как облако похоже на кита. Когда читаешь эти странные слова, написанные тем, кто давно ушел из жизни, то чувствуешь, что живешь одной жизнью с тем, кто некогда...

Уже не зернистый песок под его ногами. Его ботинки снова попирают отсыревший обломок мачты, острые раковины, поскрипывающую гальку, что разбивается о гальку без числа, древесину, источенную корабельным червем, погибшую армаду. Гнилые пески старались засосать его попирающие подошвы, выдыхая дыхание сточных вод. Он обошел их, осторожно ступая. Пивная бутылка стояла стоймя, погребенная до пояса, в спекшемся песчаном тесте. Часовой; остров неутолимой жажды. Разбитые ободья на берегу; хитросплетение темных коварных сетей; немного дальше помеченные мелом задние двери и

[1] Вечный закон (лат.)
[2] Блаженная смерть (греч.).

[1] Сходи вниз, плешивый, чтобы не слишком оплешиветь (лат.).

[1] Ну, еще бы! (итал.).

повыше, на берегу, веревка с двумя распятыми рубашками. Рингсенд: вигвамы загорелых лоцманов и мореходов. Человечьи раковины.

Он остановился. Я не свернул к тете Саре. Я не иду к ней? Надо думать, нет. Вокруг никого. Он повернул на северо-восток и пересек менее зыбкие пески, направляясь к Голубятне.

— Qui vous a mis dans cette fichue position? — C'est le pigeon, Joseph [1].

Патрис, уволенный в отпуск домой, лакал теплое молоко вместе со мной в баре «Мак-Магон». Сын дикого гуся, Кевин Эган парижский. Мой папа был голубь, он лакал сладкое lait chaud [2] младенческим розовым язычком пухлое кроличье лицо. Лакал: lapin [3]. Он надеется выиграть gros lot. О природе женщин он читал у Мишле. Но он должен прислать мне «La vie de Jésus» [4] Лео Таксиля. Дал почитать ее приятелю.

— C'est tordant, vous savez. Moi je suis socialiste. Je ne crois pas en l'existence die Dieu. Faut pas le dire à mon père.

— Il croit?

— Mon père, oui [5].

Schluss [6].

Он лакает...

Моя парижская шляпа, Quartier Latin [7]. Нам положительно необходимо одеться по ролям. Я хочу пюсовые перчатки. Вы были студентом, не правда ли? Какого к чорту факультета? Пэсээн. P. C. N., знаете: physiques, chimiques et naturelles [8]. Ага. С'едал грошовую порцию mou en civet, котлы с мясом в земле Египетской, бок о бок с рыгающими кучерами. Нужно только сказать самым обыкновенным тоном: когда я был в Париже, на Boul'Mich' [9], я всегда. Вот именно, всегда носил в кармане надорванные трамвайные билеты, чтобы доказать свое алиби, если арестуют по подозрению в убийстве. Правосудие. Два свидетеля видели подсудимого в ночь на 17 февраля 1904 года. Другой сделал это: другой я. Шляпа, галстук, пальто, нос. Lui, c'est moi [1]. Надо думать, ты там неплохо проводил время.

Гордо ступая. В походке ты подражал кому? Забыл: лишен собственности. С переводом от матери на восемь шиллингов дверь почтового отделения захлопнул перед твоим носом швейцар. Голод, —зубная боль. Encore deux minutes [2]. Посмотрите на часы. Очень спешно. Fermé [3]. Цепная собака! Взвести курок пулю в него брызги крови мозга об стены медные пуговицы. Брызги крови мозга крррак щелк все на месте опять. Я вас не ушиб? Ничего, ничего, не беспокойтесь. Ваших пять. Ничего, ничего, ради бога не беспокойтесь.

Ты собирался натворить чудес, так ведь? Миссионером в Европе по стопам неистового Колумбана. Фиакр и Скотт на своих зыбких небесных табуретах расплескивали пиво из кружек, громколатынно хохоча: Euge! Euge [4]! Говорил ломаном английском языке, когда та[...] свой чемодан, носильщику ча[...] пенса, по скользкому молу [...] не. Comment [5]? Богатую доб[...] ты с собой: Le Tutu, пять п[...] номеров Pantalon Blanc et C[...] ge [6], голубенькую французс[...] грамму, показывать как суве[...]

Мать умирает приезжай о[...]

Тетушка считает, что ты [...] мать. Поэтому она не...:

> Так выпьем за тетку, дру[...]
> За тетку Маллигана;
> Все содержит в порядке [...]
> В семействе Ханигана.

Его ноги зашагали в не[...] гордом ритме по песчаным [...] вдоль валунов южной стены [...] до рассматривал их, нагром[...] каменные черепа мамонтов. Зо[...] на море, на песке, на валунах. [...] це, стройные деревья, лимон[...]

Сыро просыпается Париж, [...]

---

[1] Кто вкатил тебя в это дело? — Голубь, Иосиф (франц.).

[2] Горячее молоко (франц.).

[3] Кролик (франц.).

[4] Жизнь Иисуса (франц.).

[5] Это уморительно, знаете. Я—социалист. Я не верю в бога. Не говорите этого моему отцу.— Он верит? — Мой отец, да.

[6] Конец (нем.)

[7] Латинский квартал [...]

[8] Физико-химическо[...] (франц.).

[9] Сокращенное Boul[...] да в Париже, в Латинско[...]

[1] Он, это я (франц.).

[2] Еще две минуты (франц.).

солнечный свет на его лимонных улицах. Влажный мякиш свежего хлеба, квакше-зеленая полынь, ее утренний ладан, нежит воздух. Belluomo встает с постели жены любовника своей жены, хозяйка в платке суетится с блюдцем уксусной кислоты в руках. У Родо Ивонна и Мадлэна подновляют свои помятые прелести, похрустывая пирожными на золотых зубах, губы их желтые от сока flan bréton [1]. Лица парижан проходят мимо, их покоренные покорители, завитые конквистадоры.

Полдень дремлет. Кевин Эган пальцами в типографской краске крутит сигаретки, начиненные порохом, потягивая свою зеленую фею, как Патрис свою белую. Вокруг нас чавкают пожиратели приправленных пряностями бобов. Un demi sétier! [2] Струя кофейного пара вырывается из блестящего котла. По его знаку она подает мне. Il est irlandais. Hollandais? Non, fromage. Deux irlandais, nous, Irlande, vous savez? Ah oui [3]! Она думала, заказывают голландский сыр. Ваше послетрапезное, знакомо вам это слово? Послетрапезное. У меня был знакомый в Барселоне, такой чудак, он всегда называл это своим послетрапезным. Итак: slainte [4]. Вокруг мраморных столиков проспиртованные дыхания сплетаются с рыганьем глоток. Его дыхание стелется над нашими тарелками с застывшим соусом, жало зеленой феи высовывается у него изо рта. Об Ирландии, о Далькассиях, о надеждах, заговорах, об Артуре Гриффитсе теперь. Ярмом на меня, на его сояремника, наши преступления, наше общее дело. Вы сын своего отца. Узнаю голос. Его бумазейная блуза, кровавоузорная, подрагивает кисточками, слушая его тайны. Г-н Дрюмон, знаменитый журналист, Дрюмон, знаете, как он называл королеву Викторию? Старая ведьма с желтыми зубами. Vieille ogresse aux dents jaunes [5]. Мод Гонн, красивая женщина, La Patrie [6], г-н Мильвуа, Феликс Фор, знаете, как он умер? Распутные мужчины. Фрекен, bonne a tout faire [1], отмывающая мужскую наготу в ванном заведении в Упсале. Moi faire [2] говорит она. Tous les messieurs [3] Но не этого monsieur, говорю я. Чрезвычайно непристойный обычай. Купанье — интимное дело. Я не позволил бы моему брату, даже моему родному брату, это крайне непристойно. Зеленые глаза, вижу вас. Жало, чувствую. Распутный народ.

Голубой фитиль горит мертвенно в его горсти, разгорается ярче. Волокна табака воспламеняются: пламя и едкий дым озаряют наш угол. Костлявые скулы под широкополой шляпой. Побег главы заговорщиков, самые достоверные сведения. Под видом новобрачной, фата и флердоранж, по шоссе на Малагайд. Да, да, честное слово. Оставленных вождей, брошенных всеми, паническое бегство. Переодетый вырвался из лап, бежал, след простыл.

Отвергнутый любовник. Рослым молодцом был я тогда, уверяю вас, как-нибудь я покажу вам свою карточку. Да, да, честное слово. Любовник, в погоне за ее любовью крался он с полковником Ричардом Бэрком, вождем его клана, под стенами Клеркенвелла и, притаившись, видел, как пламя возмездия взметнуло их кверху в тумане. Вдребезги стекла, рушатся стены. В веселом городе Париже скрывается он, Эган парижский, не разыскиваемый никем, кроме меня. Днем—грязная наборная касса, три излюбленных таверны, ночью — ненадолго засыпает в своем логове на Монмартре, rue de la Goutte d'or, где по финифти стен засиженные мухами лица умерших. Без любви, без родины, без жены. Она устроилась очень мило без своего изгнанника-мужа, madame, на rue Git-le-Coeur, у нее канарейка и двое жильцов. Покрытые пушком щеки, полосатая юбка, резвится, как девочка. Отвергнутый и не отчаявшийся. Скажите Пату, что вы меня видели, хорошо? Как-то раз я хотел устроить Пата на службу. Mon fils [4], французский солдат. Я научил его петь.

---

[1] Пирожное: круглая тартинка с кремом (франц.).

[2] Полкружки (фр.).

[3] О[...] ирландец, голландец? Нет, сыр. Два [...] мы, Ирландия, знаете? Ах, да!

[...]цузское ругательство.

[5] [...]рая людоедка с желтыми зубами (франц.).

[6] [...]дина (франц.); повидимому, автор имеет в известную драму В. Сарду.

[1] Прислуга за все (франц.).

[2] Я сделать (ломаный франц.).

[3] Всех господ (франц.).

[4] Мой сын (франц.).

Ребята из Килкенни не боятся ничего. Знаете эту старинную песню? Я научил Патриса петь ее. Старый Килкенни: святой Канис, замок графа Стронгбау на северном побережьи. Мотив такой:

О, о! Он берет меня, Нэппер Тэнди, за руку.
О, о, ребята из Килкенни...

Слабая изнуренная рука на моей. Они забыли Кевина Эгана, но он их нет. Аще забуду тебя, Сионе.

Он подошел ближе к морю, и влажный песок засасывал его ботинки. Новая мелодия приветствовала его, ударяя по его натянутым нервам, ветер, безумный, веющий музыкой. Что, разве я иду к плавучему маяку Киш? Он резко остановился, и его ноги начали медленно погружаться в зыбкую почву. Повернись назад.

Повернувшись, он осмотрел южный берег, и его ноги медленно погружались в новые следы. Холодная сводчатая комната башни ждет. Столбы света, падающие через бойницы, неуклонно движутся, медленно, как погружаются мои ноги, подползая к сумеркам по солнечным часам пола. Синие сумерки, наступление ночи, глубокая синяя ночь. В сводчатой темноте они ждут, их отставленные стулья, мой стоящий торчком чемодан вокруг стола с покинутыми тарелками. Кому убирать? Ключ у него. Я не буду спать там сегодня ночью. Закрытая дверь молчаливой башни, в которой погребены их слепые тела, саиб с пантерой и его пойнтер. Зови: ответа нет. Он вытащил ноги из засасывающего песка и пошел вдоль дамбы из валунов. Берите все, владейте всем. Моя душа идет со мной, форма форм. Так в лунные стражи взад и вперед я хожу над скалами, в чернь с серебром одетый, прислушиваясь к искусительному приливу Эльсинора.

Прилив следует за мной. Отсюда я могу следить, как он подымается. Тогда иди назад по Пульбегской дороге до самого берега. Он перелез через осоку и камышки и сел на скалистый табурет, поставив рядом в углублении свою трость.

Распухший труп собаки развалившись лежал на пузырчатых водорослях. Перед ним засосанный песками шкафут корабля. Le coche ensablé[1], называл Луи Вейо прозу Готье. Эти тяжелые пески — слова, наслоенные здесь приливом и ветром. А там груды камней, нагроможденные мертвыми строителями, логово хорьков. Спрячь там золото. Можно. У тебя оно есть. Пески и камни. Отягченные прошлым. Игрушки сэра Лаута. Смотри, как бы тебя не двинули по уху. Я тот самый страшный великан, который навалил эти валуны, по твоим костям я пройду через воду. Фу-фу-фу! Чую кровь человечью, ирландскую.

Точка росла на глазах, живая собака, пробегая по полосе песка. Чорт, а вдруг она на меня бросится? Уважай ее свободу. Ты не будешь ничьим господином, ничьим рабом. У меня палка. Сиди и не шевелись. Издали, шагая к берегу от гребня прилива, фигуры, две. Две Марии. Они спрятали его от взоров среди тростника. Ку-ку! А я тебя вижу. Нет, пес. Он бежит обратно к ним. Кто?

Здесь приставали к берегу в поисках добычи галеры лохланнов, их окровавленные клювы надвигались над расплавленным оловом прибоя. Датские викинги, бармы из томагавков блестели на их груди; Малаки носил тогда золотой ошейник. Стадо грубокожих китов, приставших к берегу жарким полднем, выбрасывающих воду струей, барахтающихся на мелководьи. Тогда из клеток голодного города вырывалась орда одетых в камзолы карликов, моих родичей, живодерными ножами сдирая кожу, вспарывая зеленое пузырчатое китовое мясо. Голод, чума, побоища. Их кровь во мне, их вожделения волнами во мне. Я ходил среди них по замерзшему Лиффи, тот я, оборотень, среди шипящих смолистых костров. Я не говорил ни с кем; никто со мной.

Лай собаки приближался, останавливался, удалялся снова. Собака моего врага. Я просто стоял, бледный, молчаливый, затравленный. Terribilia meditans[1]. Светложелтый камзол, червонный валет, улыбался над моим страхом. Этого жаждешь ты, лая их аплодисментов? Самозванцы: живи их жизнью. Брат Брюса, шелковый рыцарь Томас Фицджеральд, лжеотпрыск Иорка Перкин Уорбек, в штанах из шелка цвета белой розы, однодневное чудо, и Ламберт Симнел со свитой девок и маркитантов, коронованный поваренок. Все сыновья королей. Рай самозванцев, тогда и теперь. Он спасал утопающих, а ты дрожишь, когда на тебя лает дворняжка. Но придворные, осмеявшие Гвидо в Ор-сан-Микеле, были в своем собственном доме. В доме... Надоели нам твои средневековые хитросплетения. Сделаешь ты то, что сделал он? Лодка будет близко, спасательный буй. Natürlich[1], специально для тебя. Сделаешь или не сделаешь? Человек, утонувший девять дней тому назад за скалой Девы. Теперь они ждут его. Я хотел бы. Я попробую. Я не очень хорошо плаваю. Вода холодная, мягкая. В Клонгаусе, когда я окунул в нее лицо, в таз. Ничего не вижу! Кто позади меня? Назад, назад, быстро! Видишь, как быстро со всех сторон приближается прилив, быстро затягивая низины песков, шоколадноцветный? Если бы под ногами была земля. Пусть его жизнь будет его, моя моей. Утопленник. Его человеческие глаза взывают ко мне из ужаса его смерти. Я... вместе с ним, туда, вниз.... Я не мог спасти ее. Воды: горькая смерть: погиб.

Женщина и мужчина. Я вижу ее юбки. Держу пари, зашпилены булавкой.

Пес их трусил вдоль отлогой песчаной отмели, внюхиваясь в воздух. Ищет что-то, потерянное им в прошлой жизни. Вдруг он подпрыгнул, как заяц, прижав уши, ловя тень низко скользящей чайки. Пронзительный свист мужчины поразил его отвислые уши. Он повернулся, отпрыгнул, приближаясь, трусил мелькающими лапами. В червленом поле бегущий олень, натурального цвета, безрогий. У кружевной бахромы прилива он остановился: напряженные передние копыта, торчащие к морю уши. Его поднятая морда лаяла на шум волн, на стада моржей. Они змеились к его ногам, свивая и развивая свои гребешки, каждая девятая разбиваясь на мелкие брызги, издалека, из далекого далека, волны и волны.

Ловцы моллюсков. Они вошли в воду, нагнувшись, окунули свои мешки, и, подняв их снова, вышли из воды. Пес визжал, подбегая к ним, бежал вслед за ними и лапил их, снова падая на все четыре ноги, снова бежал вслед с медвежьим немым раболепством. Пренебрегаемый, следовал он за ними, идущими к сухому песку, волчий язык лоскутом, красный свисал из его пасти. Его пятнистое тело трусило впереди них, а потом заскакало вперед телячьими прыжками. Труп лежал на его пути. Он остановился, понюхал, подкрался ближе, свой брат, понюхал ближе, обошел вокруг, быстро обнюхивая по-собачьи всю дохлого пса измаранную шкуру. Песий череп, песий нюх, глаза в землю, движется к одной великой цели. Бедный песик! Здесь покоится жалкое собачье тело бедного песика.

— Лохмач! Назад, ублюдок.

Крик заставил его подползти назад к господину; мягкий босой пинок его, согнувшегося дугой, невредимо швырнул через песчаную гряду. Он стороной прокрался обратно. Не видит меня. У края дамбы он повалялся, отряхнулся, обнюхал камень и из-под задранной задней ноги помочился на него. Он протрусил вперед и, подняв заднюю ногу, помочился быстро, коротко на другой необнюханный камень. Простые радости бедняков. Его задние лапы разгребают песок; потом передние лапы копают и роют. Он что-то здесь похоронил; свою бабушку. Он зарывался в песок, копая и роя, остановился, прислушился к воздуху, снова скреб яростными когтями песок, потом перестал, пантера, леопард, рожденный прелюбодеянием, когтящий мертвеца.

После того как он разбудил меня прошлой ночью, тот же сон или? Постой. Открытая дверь. Улица проституток. Ага, вспоминаю. Гарун-аль-Рашид. Почти почти совсем. Этот человек вел меня разговаривал. Я не боялся его. Дыню, которая была у него, он поднес мне к лицу. Улыбнулся: запах рупеллии. Так принято здесь, сказал. Войдем. Красный ковер на полу. Вы увидите кто.

Взвалив мешки на спину, они тащились, красные египтяне. Его посиневшие ноги в подвернутых брюках хлопали по липкому песку, тускло-кирпичный шарф стягивал его небритую шею. Женской походкой следовала она: бродяга со своей марухой. Добыча болталась у нее за спиной. Песок и осколки раковин по-

[1] Экипаж, засыпанный песком.

[1] Натурально (нем.).

крывали корой ее голые ноги. Волосы свисали на ее обветренное лицо. За своим господином его спутница, пешедралом в город Рим. Когда ночь скроет уродства ее тела, она зазывает, закутанная в темную шаль, из подворотни, где нагадили собаки. Ее кот угощает двоих солдат Дублинского королевского у О'Лафлина в Блэкпиттс. Белое тело дьяволицы под вонючими лохмотьями. Нынче ночью в Фамбаллис-Лэйн: среди запахов кожевенного завода.

Белы руки красен рот
Шкура лакома твоя.
Сядь со мною этак вот,
Буду я любить тебя.

Мрачными усладами называет это косопузый Аквинат, frate porcospino [1]. Пусть себе распинается: а шкура лакома твоя. Язык ничуть ни хуже, чем у него. Монашеские слова, четки бормочут на их поясах; блатные слова, монеты жаргонят в их карманах.

Проходят дальше. Косятся на мою гамлетовскую шляпу. А что, если бы я вдруг оказался голым, сейчас, здесь? Я не голый. Через пески всего мира преследуемые пламенеющим мечом солнца, к западу, удирая в вечерние страны. Она тянет, шлеппит, трэнит, трашинит, тащит свою ношу. Следом за ней прилив, направляющийся к западу, влекомый луной. В ней приливы с тысячами островов, кровь не моя, oinopa ponton [2], винно-темное море. И вот служанка луны. Во сне влажный знак будит ее в урочный час, велит ей встать. Брачное ложе, ложе родов, ложе смерти, освещенное призраком свечи. Omnis caro ad te veniet [3]. Он грядет, бледный вампир, сквозь бурю его глаз, его нетопырьи паруса кровавят море, рот к ее рта поцелую.

Стой. Насади его на булавку, скорей. Мои таблички. Рот к ее поцелую. Нет. Их должно быть двое. Склей их как следует. Рот к ее рта поцелую.

Его губы губили и ласкали бесплотные губы воздуха: рот к ее лону. Лоно, утроба гроба. Его рот придал форму его выдыху, бессловесно: ооееа: рев водопадных планет, круглых, пламенных, в даль уносящихся с воевоевоевоевоевоем.

Бумагу. Банковые билеты, чорт их возьми. Письмо старика Дизи. Вот. Благодарю вас за любезно предоставленную возможность оторвать пустой конец листа. Повернувшись к солнцу спиной, он нагнулся над каменным столом и принялся записывать слова. Вот уж второй раз забываю захватить требовательных листков из библиотеки.

Его тень легла на скалы, когда он нагнулся, кончая. Почему она не бесконечная, до самой далекой звезды? Они темные за этим светом, тьма, сияющая во свете, дельта Кассиопеи, миры. Мое Я сидит здесь со своим жезлом авгура, в чужих сандалиях, днем у трупноцветного моря, незамечаемый никем, фиолетовой ночью ходит в царстве лохматых звезд. Я отбрасываю от себя эту конечную тень, непреодолимо человекоподобную, призываю ее назад. Бесконечная, была бы она моей, форма моей формы? Кто здесь видит меня? Кто когда-либо где-либо прочтет эти записанные слова? Знаки на белом поле. Где-нибудь кому-нибудь своим самым свирельным голосом. Добрый епископ Клойна вынул храмовую завесу из своей пастырской шляпы: завесу пространства, дамаскированную цветными эмблемами. Внимание. Цветная, плоскостная: да, это так. Я вижу плоскость, затем мыслю расстояние, близко, далеко, я вижу плоскость, на востоке, сзади. Ага, теперь понятно: внезапно спадает застывшая в стереоскопе. Трик — и весь трюк. Мои слова кажутся вам темными. Тьма в наших душах, разве не правда? Еще свирельней. Наши души, стыдом греха израненные, еще крепче цепляются за нас, женщина, цепляющаяся за своего любовника, крепче и крепче.

Она доверяет мне, ее рука нежна, с длинными ресницами глаза. Куда же, разрази меня бог, вывожу я ее из-за завесы? В непреодолимую модальность непреодолимой видимости. Она, она, она. Которая она? Дева у витрины Ходжс Фиггиса в понедельник, ищущая одну из книг с буквами вместо заглавий, которые ты собирался написать. Жадный взгляд ты бросил на нее. Запястье просвечивает сквозь плетеную кордельерку ее зонтика. Она живет в Лизон-

[1] Брат-дикообраз (итал.)
[2] Темному морю (греч.),
[3] Всякая плоть к тебе возвратится (лат.).

парке; питаясь любовью и розовыми лепестками, литераторша. Рассказывай, Стиви: просто уличная. Держу пари, она носит богопротивный корсет с подвязками и желтые чулки, заштопанные грубой шерстью. Поговори piuttosto [1] о яблоках в тесте. Где у тебя голова?

Прикоснись ко мне. Мягкие глаза. Мягкая, мягкая, мягкая рука. Я одинок здесь. О, прикоснись ко мне скорей, сейчас. Что это за слово, которое знают все мужчины? Я тихий здесь, один. И печальный. Прикоснись, прикоснись ко мне.

Он растянулся во всю длину на острых скалах, засовывая исписанные листки и карандаш в карман, сдвинув на глаза шляпу. Жест Кевина Эгана, клюющего носом, субботний сон. Et vidit Deus. Et erant valde bona [2]. Алло! Bonjour [3], желанный, как цветы в мае. Из-под ее полей следил он сквозь мерцанье павлиннорадужных ресниц за южнеющим солнцем. Меня застали в этой пылающей сцене. Час Пана, полуденный отдых фавна. Среди набухших смолой змеистых растений, млекоточащих плодов, где на червленых водах широко раскинулись листья. Боль далека.

Не смей смотреть назад, вздыхая.

Его взгляд блуждал по его большеносым ботинкам: обноски щеголя, nebeneinander [4]. Он пересчитывал складки измятой кожи, в которых прежде удобно гнездилась чужая нога. Нога, попиравшая землю в торжественном танце, нелюбимая мною нога. Но ты был в восторге, когда тебе оказался в пору ботинок Эстер Освальт: девушки, которую я знал в Париже. Tiens, quel petit pied [5]! Верный друг, родная душа: Уайльдова любовь, которая себя назвать не смеет. Теперь он покинет меня. А кто виноват? Каков я есть. Каков я есть. Все или ничего.

Длинными лассо из озера Кок в плавном приливе подступала вода, золотисто-зеленым закрывая лагуны в песке. Уплывет моя палка. Надо подождать. Нет, мимо пройдут они, пройдут пенноуздые под низкими скалами, в водовороте пройдут. Скорей покончить. Слушай: четырехсловная речь волн: сеесоо, хрсс, рсееисс ооос. Неистовое дыхание влаги средь змеиного свиста, храпенье коней, утес. В чаши утесов плещет оно: плеск, хлюп, шлеп: волны валами. Вот — истощенное, и речь стихает его. Журча приливает оно плавным приливом, всплывая пенистым прудом, раскрывая свои лепестки.

Под растущим приливом он видел извивающиеся водоросли, томно подымавшие и колыхавшие робкие руки, задирая свои юбки, под шопот воды колебля и повертывая скромные серебряные листы. День за днем, ночь за ночью, подымаясь, плывя, падая снова. Боже, устали они: и, шопоту внемля, вздыхают. Святой Амброзий слышал их, вздохи волн и листьев, как ждут, ожидая, когда исполнятся их времена, diebus ac noctibus iniurias patiens ingemiscit [1]. Без цели собираемые, без цели отпускаемые, взад и вперед, всплывая и уплывая: влекомые луной. Усталая тоже под взглядами любовников, распутных мужчин, нагая женщина, сияющая среди своих поклонников, к себе воды влечет она.

Здесь тридцать футов. Там тридцать футов, где твой покоится отец. Он сказал в час. Утопленник. Прилив на Дублинском баре. Неся перед собой наносы гальки, струями стайки рыб, редкие ракушки. Труп выплывает белый, как соль, из-под отступающих волн, выползая на берег дюйм за дюймом как дельфин. Вот он, цепляй его, живо. Скрылся он под гладью вод. Попался. Легче, легче.

Мешок с трупным газом, пропитанный морской вонючей водой. Стайка голопузок, разжиревших на губчатом лакомстве, мелькая, выскакивает из застегнутого разреза брюк. Бог станет человеком станет рыбой станет казаркой станет периной. Мертвых дыханием я, живущий, дышу, мертвый прах попираю, пожираю смердящие мочей отбросы всех мертвых. Вытащенный на шкафут, он выдыхает зловоние зеленой могилы, из'еденная проказой дыра его носа зияет на солнце.

Метаморфоза моря, карие глаза синими от соли. Смерть в море, самая лег-

[1] Скорей, лучше (итал.).
[2] И увидел бог, что это хорошо (Бытие, 1).
[3] Здравствуй (франц.).
[4] Один подле другого (нем.).
[5] Ах, какая маленькая нога! (франц.).

[1] Дни и ночи, претерпевая несправедливости, стенает (лат.).

кая из всех смертей человека. Древний отец Океан. Prix de Paris[1]: берегитесь подделок. Предлагаю сделать проверку. Мы замечательно провели время.

Приди. Я жажду. Нависая тучей. Ни одной черной тучи нигде. В грозе и буре. Светлый в самом падении своем, гордая молния ума, Lucifer, dico, qui nescit occasum[2]. Нет. Посох мой и шляпа с перловицей на тулье и его-мои сандалии. Куда? В вечерние страны. Вечер найдет сам себя.

Он взял рукоятку своей палки, мягко ударяя ею, все еще мешкая. Да, вечер найдет сам себя во мне, без меня. Все дни идут к концу. Кстати, следующий когда? Вторник будет самый длинный день. В счастливом годе лучший день, о мама, татáта, тáта, тáта, тá. Лаун Теннисон, джентльмен-поэт. Gia[3]. Для старой ведьмы с желтыми зубами. И г-н Дрюмон, джентльмен-журналист. Gia. У меня очень скверные зубы. Интересно, отчего? Потрогай. Этот тоже портится. Скорлупки. Не пойти ли на эти деньги к дантисту? И этот. Беззубый Кинч, сверхчеловек. Интересно, отчего это, или, может быть, это что-нибудь значит?

Мой носовой платок. Он бросил его. Разве я не поднял его? Его рука тщетно обшаривала карман. Нет, не поднял. Надо купить новый. Он положил сухую козюльку, которую он вытащил из ноздри, на выступ скалы, аккуратно. А там пускай смотрит кто хочет.

Сзади. А вдруг там кто-нибудь есть?

Он повернул голову и оглянулся через плечо, rere regardant[1]. Разрезая воздух высокими реями трехмачтовика, с парусами на краспицах салинга, возвращаясь на родину, вверх по течению безмолвно двигался безмолвный корабль.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный эпизод «Улисса» написан в форме «внутреннего монолога».

Техника внутреннего монолога частично использовалась Джойсом и в первых двух отрывках «Улисса», особенно во втором (школа), где мысли Стефена являлись своего рода внутренним комментарием к его словам, словам его собеседников и образам, которые возникали перед ним.

Время действия третьего эпизода — между 11 и 12 часами дня 16 июня 1904 г. Стефен после урока в школе (второй эпизод) идет по берегу моря. Весь эпизод — подробная запись мыслей Стефена, в сознании которого переплетаются образы внешнего мира (море, берег, ловцы моллюсков и их собака), воспоминания о прошедшем утре (утро в башне с Баком Маллиганом и Гэйнсом, школа и м-р Дизи) и о более отдаленном прошлом (детство, пребывание в Париже), цитаты из прочитанных книг и т. п.

Каждому эпизоду «Улисса» соответствует какая-нибудь песнь его прототипа — «Одиссеи». Данному эпизоду соответствует четвертая песнь «Одиссеи» — «Протей». Хотя здесь ни разу не назван ни Протей, ни другие действующие лица «Одиссеи», однако, гомеровские ассоциации пронизывают весь этот эпизод. Его центральный образ — вечно изменчивое море. Живые существа и неодушевленные предметы, попадающие в поток сознания Стефена, подвергаются непрерывным метаморфозам. Так, собака, сопровождающая ловцов моллюсков, на протяжении трех абзацев превращается в зайца, оленя, медведя, волка, теленка, пантеру, леопарда. Палка Стефена названа в начале «деревянным мечом», затем она превращается в жезл авгура и дальше — в посох пилигрима.

Отметим одно превращение, которое невозможно передать при переводе на русский язык. Бак Маллиган, друг и сожитель Стефена, упоминается несколько раз: в связи со Свифтом и гуингнмами («овальные лошадиные лица, Темпл, Бак Маллиган...»), нашествием викингов («Малаки носил тогда золотой ошейник...»), с утопленником («он спасал утопающих...» — см. первый эпизод); но кроме этих явных упоминаний, есть еще скрытые намеки: с геральдическим оленем (олень по-английски — b u c k — бак), который по другой линии отождествляется с собакой собирателей моллюсков (см. ниже) и с щеголем (тоже b u c k): «обноски щеголя... в которых прежде удобно гнездилась чужая нога» (ср. «моими ступнями в его ботинках...», «его-мои сандалии») этот намек подчеркивается еще тем, что он следует непосредственно за стихом из песни, которую пел опять-таки Маллиган («не смей смотреть назад, вздыхая...»).

Кроме упомянутых ассоциаций, отметим еще несколько намеков на «Одиссею». По Гомеру, Протей живет на острове Фаросе, у устья Нила. Греки называли Фарос островом неутолимого голода; ср. у Джойса: «остров неутолимой жажды». Ловцы моллюсков названы в одном месте «красными египтянами»: то же гомеровская ассоциация (Нил = Египет).

Видное место в «Протее» занимают шекспировские ассоциации, в частности тема Гамлета, связывающаяся с одной из основных тем всего «Улисса» в целом — с темой отца и сына (Стефен — Телемак, ищущий своего отца). Цитаты из Гамлета неоднократно вплетаются во внутренний монолог Стефена: «жестокий и кусающий ветер» (акт I, сцена 4, стих 2), «как облако похоже на кита» (из разговора Гамлета с Полонием, 3, 3), «в чернь с серебром одетый»... (1, 2, 242), «таблички» (1, 5, 155). Из косвенных ассоциаций отметим «влажный знак» (о луне) — ассоциация с шекспировским названием луны — «влажная звезда» (1, 1. 118). Наконец, через трансформированную цитату из песни Офелии — «посох мой и шляпа с перловицей на тулье и его-мои сандалии» (4, 5, 23—26) — тема Гамлета связывается с темой утопленника, несколько раз возникающей на протяжении отрывка. Последняя тема в свою очередь посредством сложнейших ассоциаций сплетается с темой матери (ср.: «Я не мог спасти ее. Воды: горькая смерть: погиб»; в «Телемаке» умирающая мать плачет над словами «г о р ь к а я тайна любви», там же море названо «чашей г о р ь к и х вод»).

Из более или менее случайных литературных реминисценций отметим еще: «Как я, как Олджи, спускаются вниз к нашей могучей матери»; «О л д ж и» — крупнейший английский поэт конца XIX века, Олджернон Чарльз С у и н б е р н (1837—1909), в творчестве которого тема моря играет видную роль; Суинберн упоминался и в «Телемаке», слова Маллигана о море: «как Олджи называл его...». Л у и В е й о (1813—1883) — известный французский журналист, отличавшийся язвительностью своих характеристик. Презрительное «Лаун-Теннисон, джентльмен-поэт» относится к Альфреду Т е н н и с о н у (1809—1892), английскому поэту, типичному викторианцу-сентименталисту и патриоту, которому королева Виктория («старая ведьма с желтыми зубами») пожаловала в 1884 году баронский титул. Наконец, в связи с утопленником цитируется («...скрылся он под гладью вод») стих из «Лисидаса» — элегии английского поэта Джона М и л ь т о н а (1608—1674); это стихотворение отвечали на уроке ученики Стефена (см. второй эпизод).

Большое место в сознании Стефена занимает английский сатирик, по происхождению ирландец, Джонатан С в и ф т (1667—1745). Для Джойса характерно то, что он ни разу не упоминает Свифта по имени, ограничиваясь рядом намеков, безошибочно указывающих на него. Ассоциация начинается с библиотеки Марша, которая помещается в ограде собора св. Патрика (Дублин), деканом которого был Свифт (у Джойса: «стоглавая толпа в ограде собора»). В конце жизни Свифт сошел с ума (Джойс: «бежал от них в леса безумия»). «Гуингнм» — намек на одну из частей «Путешествия Гулливера», где описывается совершенное государство, в котором кони — гуингнмы — управляют людьми. Отметим еще одну фразу из «Протея», становящуюся понятной только в связи со Свифтом: «Кузен Стефен, вы никогда не будете святым» — перефразировка слов английского поэта Драйдена, обращенных к Свифту: «Кузен, вы никогда не будете поэтом».

Через отождествление Свифта с аббатом Иоахимом («отец аббат, неистовый декан...») ассоциации литературные сплетаются с ассоциациями церковно-схоластическими. Стефен собирается стать «миссионером в Европе по стопам неистового К о л у м б а н а» (ирландского святого VII века). Другой ирландский святой — Ф и а к р (VII век) — изображен распивающим на небе пиво. Столп средневековой католической схоластики, «ангельский доктор» Фома А к в и н а т (1227—1274) получает у Джойса непочтительный эпитет «косопузый». В ироническом контексте упоминается и «последний схоласт» — итальянский философ Джованни П и к о д е л л а М и р а н д о л а (1436—1494). Вильгельм О к к а м, «непобедимый доктор» — английский философ и богослов XIV века.

Из философов в «Протее» упоминается также Джордж Б е р к л и (1685—1753), ирландец по происхождению, с 1734 г. епископ Клойна («добрый епископ Клойна...»). Влияние Беркли чувствуется и в философском зачине эпизода — одном из самых темных его мест. Комментатор Джойса Фрэнк Баджен истолковывает это место следующим образом: «С открытыми глазами Стефен идет сквозь пространство. Вещи в нем расположены nebeneinander (одна возле другой). Он называет пространство непреодолимой модальностью видимого. С закрытыми глазами он идет сквозь пространство во времени. Время — это непреодолимая модальность слышимого. Одно событие следует за другим nacheinander (одно за другим)». Модальность — категория формальной логики, выражающая степень достоверности суждения (от средневекового философского термина «модус» — состояние мышления или бытия).

Католицизм и Ирландия, религия и родина — две «травмы» Стефена Дедалуса. В «Несторе» (разговор с м-ром Дизи) он говорит: «История — кошмар, от которого я стремлюсь избавиться». Мать Стефена — ревностная католичка, отец его — ярый националист, поклонник Парнелла. Несмотря на все его старания забыть о родине и об истории, тема Ирландии неотступно преследует Стефена. Ее олицетворение в «Протее» — Кевин Эган, скрывающийся в Париже фений. Р и ч а р д Б э р к, о котором рассказывает Кевин Эган, — историческая личность: Бэрк приобретал в Бирмингаме оружие для готовящегося восстания по поручению фениев, был арестован и посажен в тюрьму К л е р к е н в е л л в Лондоне (1867 г.). Пытаясь освободить Бэрка, его единомышленники произвели взрыв («в дребезги стекла, рушатся стены»). Артур Г р и ф ф и т с (1872—1922) — видный ирландский политический деятель, основатель организации «Общество Гельцев» (1902 г.), более известной под названием «Син-Фейн». Далькассии — ирландская династия X века, когда Ирландия была некоторое время независимой; от Далькассиев вел свой род Парнелл, которого наиболее ярые парнелитты прочили в короли Ирландии.

Исторические ассоциации возникают у Стефена и в других местах «Протея». Л о х л а н н ы — старинное название норвежцев. В середине IX столетия норвежцы сражались с датчанами («датские викинги») за власть над Ирландией. Л а м б е р т С и м н е л (1477—1534), выдававший себя за убитого сына короля Анг-

[1] Парижский приз (франц.).

[2] Люцифер, говорю я, который не знает заката (лат.).

[3] Уже (итал.).

[1] Смотря назад (франц; геральдический термин).

лии Эдуарда IV, был коронован в Дублине под именем Эдуарда VI (1487 г.) и в том же году взят в плен англичанами; король Генрих VII простил его и сделал своим придворным поваренком («коронованный поваренок»). Перкин Уорбек (1474—1499) — также самозванец, якобы незаконный сын Ричарда III, выдвинутый ирландскими повстанцами; Уорбек был казнен Генрихом VII Ланкастером. Томас Фицджеральд (1513—1537) поднял в 1534 г. в Дублине восстание против английского владычества. Прозвище «шелковый рыцарь» — от шелкового лоскута, который его приверженцы носили на шлеме.

Язык «Протея» исключительно богат и разнообразен. Джойс не ограничивается использованием всех возможностей английского литературного языка — от средневековых архаизмов до варваризмов новейшего происхождения (например, скваау, вигвам, томагавк—слова, заимствованные из языка северо-американских индейцев). Он постоянно привлекает на помощь иностранные языки: древнегреческий, латинский, французский, немецкий, итальянский, испанский. По этой линии отметим интересный опыт использования чужеязычных слов. Джойс берет немецкий глагол schleppen, французский traîner и итальянский trascinare и «энглизирует» их, придавая их корням английское окончание «s» (настоящее время, третье лицо, единственное число); получается фраза, которую мы передаем так: «Она тянет, шлеппит, трэнит, трашинит, тащит свою ношу». Другой пример словотворчества — «единопреображидотрамтарарамность»; на этот раз несколько слов, втиснутых в середину слова «едино(сущ)ность». В других случаях Джойс играет на синонимах (например, греческое «омфалос-пуп» рядом с обычным английским navel), пользуется малоупотребительными словами (например, эпифании-гимны в честь богоявления), геральдическими терминами (дамаскированный, чернь с серебром и др.), словами-образами («квакшезеленая полынь» и «зеленая фея» вместо слова «абсент» — французская полынная водка зеленого цвета), наконец «блатной музыкой» английских цыган («город Рим» — Лондон и др.). Цель всех этих приемов — добиться максимальной выразительности слова, как такового, а зачастую также подчеркнуть его внешнюю, звуковую форму.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕМУАРЫ

Т. Драйзер

Книга о самом себе

Перевод с американского Г. ПРОКУНИНОЙ

(Продолжение)

Представьте себе мечтательного юнца, двадцати одного года, долговязого, в золотых очках, с шевелюрой а ля Помпадур, в новом весеннем костюме — в клетчатых штанах и ярко-голубом пиджаке и жилете, в желтых башмаках и мягкой шляпе, пробивающего себе дорогу в газетный мир Чикаго. В то время, хотя я этого и не знал, газетная пресса процветала в Чикаго. В ней работали лучшие журналисты, писатели, редакторы страны: Мельвиль Е. Стоун, впоследствии директор «Ассошиетед пресс», Виктор Ф. Лаусон, издатель «Дэйли ньюс», Жозеф Медил, редактор и издатель «Трибюн», Юджин Филд, редактор «Морнинг рекорд», Уильям Пен Никсон, редактор и издатель «Интер ошеан», Жорж Эд, наконец Питер Дан, Бранд Уитлок и многие другие, которые стали известны впоследствии.

Я твердо решил, что должен стать журналистом, и по два раза в день заходил в редакцию, в поисках работы. Вскоре я научился проникать ко всевозможным редакторам всех чикагских газет. У всех у них был один и тот же взгляд, отсутствующий и циничный, свойственный газетным дельцам и финансистам, и от всех я получал неизменный ответ, что нет ничего подходящего.

Однажды в редакции «Дэйли ньюс» мимо двери прошел, шаркая ногами, высокий, неуклюжий человек в коричневой фланелевой рубашке, без жилета и пиджака, со спущенными подтяжками.

Мальчик-курьер указал мне на него.

— Знаете, кто это? — сказал он.

— Нет, — ответил я смиренно, польщенный даже вниманием курьера.

— Это — Юджин Филд. Слыхали о нем?

— Еще бы, — сказал я, вспомнив галиматью, коей я наделил его. Я следил за его удаляющейся фигурой со смешанным чувством зависти и страха. Я боялся, что он невольно почувствует во мне автора непризнанной пачкотни и тут же обругает меня.

Целую неделю, с двенадцати до двух дня и с пяти тридцати до семи часов вечера, я обходил редакции газет и, несмотря на всю мою энергию, у меня ничего не выходило. Нигде, казалось мне, люди не вели себя более странно, более неприветливо и безалаберно. Сошел тот посольский лоск, которым я наделял их полгода назад. Редакции, как я теперь разглядел их, были заставлены обыкновенными конторками и лампами, полы усеяны бумажками. Случалось, что курьеры, враждебно смотря на вас, спрашивали, что вам угодно, и заявляли, что ничего подходящего нет. Как-то раз мальчишка-курьер посоветовал мне притти днем после двух или вечером после семи, когда все назначения уже розданы. Я пришел, и мне сказали, что ничего нет и не будет. Я начал уже отчаиваться.

И вот однажды меня осенило. Я решил, вместо того чтобы обходить всех редакторов и часто не заставать их, наметить себе какого-нибудь одного и постараться втереться к нему в доверие. Во мне крепло убеждение, что в маленькой газете ко мне отнесутся с бо́льшим вниманием, чем в крупной, и я остановился на захудалой «Дэйли глоб», финансируемой специально для политических целей одним чикагским политиком.